

посреди океана, машешь руками, жжешь костры из плавника. Поддаешь сигналы, ждешь корабля. Но никого. Гладь океана пуста и безжизненна, как дно стакана.

Выключил свет, зажег свечу в бронзовом подсвечнике. Пушкинский антураж. Тени играют, огонек вздрагивает пуганым зверьком. Фитиль потрескивает. Но и на этот сигнал не приходит ни одна мысль.

Я положил ручку, отодвинул тетрадь.

Иногда это работает. Заявляя, что не будешь работать, освобождаешь голову от принудительности. Но... Тоже не сработало. В голове пусто. Мысль не идет.

Пришел кот. Громадный пятикилограммовый сфинкс сел передо мной прямо на пустую тетрадь, и глаза его оказались на одном уровне с моими. Золотой мотылек огня играл в его золотых глазах, трепетал, нырял в черный вертикальный разрез зрачка, исчезал там, снова появлялся...

Под его взглядом было неудобно, а он все смотрел и смотрел прямо на меня.

– Не надо так смотреть, – в шутку попросил я его и попытался передвинуть это пятикилограммовое изваяние в сторону.

Сфинкс поднял лапу и чуть выпустил когти. Вы видели его когти? Каждый размером с серп. На передних лапах по пять штук, на задних по четыре. Всего восемнадцать. Природа хорошо вооружила моего кота. А ведь есть еще зубы...

Свеча горела. Кот сидел. Огонь отражался в глазах кота. «У крокодилов такие же золотистые глаза и вертикальные зрачки», – подумал я.

– Не знаю, о чем писать, – сказал я сфинксу. – Понимаешь, я точно знаю, что писать нужно только о том, что любишь. Но я знаю себя как человека, который никого не любит.

Я покачал головой и отвернулся.

– Нет, в какой-то степени я люблю дочерей. Или даже скажу, что дочерей я вправду люблю. Жену люблю. Но тут все сложно. Столько лет вместе, больше похоже на привычку.

Детство... Да, я очень люблю свое детство. Я весь оттуда, и если что и есть во мне хорошего, то оно оттуда, из детства. От изначальной чистоты. Интересно, мы эту чистоту приносим из небытия? Нас же не было все эти миллиарды лет, и вот они мы, маленькие, новые, безгрешные. Значит, безгрешность от небытия? Какое-то жутковатое построение. Констатация факта, что жизнь обречена.

Я протянул руку, тронул лапу кота с укрытыми жемчужного цвета «серпами». Кот не отреагиро-

вал, продолжая смотреть мне в лицо, чуть прищурив глаза с хищным зрачком.

– А вот ты знаешь, – спросил я его, – у твоих родственников леопардов зрачки круглые, как у человека?

Я вздохнул, открыл дверцу в тумбе стола, достал маленькую бутылочку, за ней шоколадку. Лучше всего закусывать водку шоколадом, и никто не убедит меня в обратном.

Кот к моим манипуляциям отнесся со всем доступным ему кошачьим равнодушием.

– Пишешь, по большому счету, всегда для себя. Я, по крайней мере, всегда пишу для себя. Не понимаю, как можно писать для других. Поэтому сижу и тарашусь на отражение свечи в глазах сфинкса.

Чувствовал я себя странно. Все это походило исповедь. Но кто в здравом уме станет исповедоваться коту?

– Писать – это искать дыры в душе. Никто не станет писать от собственного совершенства. Пишут от уродства, несовершенства, несуразности. А из этих дыр в душе таким стыдом несет подчас, что стыдно признаться. Но ведь только тут все и начинается. Только тут...

По большому счету, я и Достоевского воспринимаю как ныряльщика в эти бездонные трещины в душе. Все лучшее, что есть в его романах, принесено оттуда, из этих страшных глубин. Там такое давление, такие чудовища плавают, что просто удивительно, как он дожил до старости и не сошел с ума. Вера, наверное, спасла.

Я почесал коту под подбородком. Он принял ласку благосклонно, но ничем этого не обозначил.

– Знаешь, кот, я не знаю, во что верят коты. Мы привыкли обращаться уничижительно с животными, и, думаю, мы глубоко не правы. Но речь не о вас. Я не знаю, во что верю я. Нет, я крещусь, иногда молюсь. Бывает, каюсь. Но это же не вера, кот. Это страх. Соломка, что я стелю на всякий случай. Но ведь и не скажешь, что я не ишу себя. Ишу. И в вере ишу...

Я потер лоб, брови.

– Ладно, кот, иди уже, мне писать надо.

Кот погасил огни в глазах и, как мне показалось, с выражением презрения на морде покинул стол.

Свечение

Осмотр на реакторе проводился в основном по ночам. Операция сопровождается определенным повышением фона. Руководство АЭС считало,

что ни к чему остальному персоналу станции получать лишнюю, пусть и небольшую, дозу.

Всегда хотелось спать. Я сова, но не настолько, чтобы спокойно работать часов, допустим, с двух ночи до восьми утра. Режим к черту. Голова постоянно ватная. Что, впрочем, не мешало довольно продуктивно писать. Депривация сна в определенном смысле освобождает сознание.

– Видел свечение Черенкова? – спросил меня напарник по осмотрам.

Женька, бывший десантник, когда-то чудом не угодивший в Чечню, потом выпускник Бауманки.

– Да, видел, – отозвался я, но лишний раз посмотреть не отказался.

При каждом реакторном зале на АЭС есть бассейн, в котором держат сборки, отстоявшие свои несколько лет в активной зоне. Цепная реакция в них все еще продолжается. Нейтроны вышибают из атомов новые нейтроны, те следующие. В этом, собственно, и суть цепной реакции. Разве что в бассейне выдержки эта реакция идет по затухающей, а в реакторе она стабильна и управляема.

Свечение Черенкова. С бассейна сняты стальные плиты, и сквозь дистиллированную воду видны сборки. Они светятся синим, очень глубоким светом. Он чем-то похож на свет неоновых ламп, которые увидишь в каждом баре и ночном клубе. Но тот свет легковесен, без глубины и подтекста. Синее сияние излучения Черенкова тихо дышит чудовищной силой, способной разнести этот мир на молекулы.

Если бы я снимал фильм о русалках, я бы визуализировал их призыв этим сиянием.

Еще ниже, под реактором, под бассейном выдержки расположены пространства, куда люди не суются. Туда при необходимости запускают роботов. Я их видел. «Валли», если вы смотрели одноименный мультфильм. Гусеницы, камеры, манипуляторы. «Валли». Их дистанционно запускают в эти опасные пространства, они там работают. Иногда не возвращаются. Возможно, намертво цепляются за что-то или запутываются в трубах. В общем, не возвращаются.

Я смотрел на этих «валли» и испытывал к ним почти человеческие чувства.

Свечение Черенкова. Счетчик Гейгера в кармане белой спецовки – не могу понять, почему спецовки на АЭС исключительно белого цвета – потрескивает размеренно, почти уютно. Значит, излучение не очень сильное.

Гладь воды бассейна неподвижна, сияние видно хорошо. Я вспоминаю свою давнюю фантазию.

Однажды меня занесло в глубинные регионы нашей огромной страны. Нас повели в хранилище отработанного топлива, куда свозили отработанные сборки со всей России и не только.

Это было гигантское сооружение. Представьте себе школьный спортзал. Теперь умножьте его на ...дцать – и получите примерный размер того сооружения.

Вымощенное стальными плитами, оно прятало в себе тысячи и тысячи конструкций, что несколько лет грели и освещали ваши дома.

Для нашего визита несколько плит подняли. Там ровным светом, холодным, ледяным сияло излучение Черенкова. Вода, которой были укрыты отработавшие свое, «пензионерские» сборки, лежала под нами спокойная, похожая на лед.

Дальше, за пределами этой открытой воды, раскинулись стальные угрюмые пространства хранилища.

Если я сейчас прыгну в бассейн, подумал я, то меня очень долго не смогут найти. Я сброшу одежду и поплыву меж этих рядов чудовищно фонащихборок вглубь, вдаль пространств, укрытых сталью.

Будет холодно, но я слышал, что отработавшие сборки теплые, некоторые даже горячие, не замерзнут.

Я представил себе масштаб проблем, если я нырну.

Вот тот кран под потолком будет день и ночь таскать защитные плиты. А я в это время буду плавать, я очень хорошо плаваю, в свечении Черенкова, неоновом, синем, восхитительном. Буду греться у наиболее кровотокающих радиациейборок, потом снова буду плавать...

А они будут одну за другой поднимать плиты, пытаюсь найти меня в этих гектарах, заполненных технологическими объедками.

Нет, я не нырнул, конечно же, в тот бассейн. Хоть и до сих пор помню, как манил тот мрак.

Я представил себя этаким радиоактивным Горлумом, скрывающимся во тьме и радиоактивности.

Наверное, это как-то не очень положительно характеризует меня.

Но рано или поздно человек достигает рубежей, после которых человеческие оценки становятся скучны и неинтересны.

«Место, где свет»... Без «Яндекса» и не вспомню автора выражения.

АЭС – место, где свет.

Свет в океане

Трансатлантический перелет. Наверное, самая красивая история, какая может приключиться в жизни. Я летел ночью, для меня эта история стала самой темной.

Во мне почти полтора килограмма нелегального груза. Это много.

Рейс Лиссабон – Нью-Йорк. Место у иллюминатора. Люблю сидеть у окна. Хотя при ночных перелетах это не такая большая радость – половину суток перемигиваться с темнотой.

Океан ночью гораздо темнее земли. На земле, даже в самых глухих уголках, нет-нет да и встретишь городок, трассу, месторождение нефти, подсвеченное, как дискотека в восьмидесятые.

Над океаном хорошая темнота. Тот, кто работал над ней, работал на совесть. Ни блика, ни трещинки.

И вдруг... Точка. Крохотная светящаяся точка посреди Атлантики. Буровая платформа? Остров? Нет, точно не остров. Я видел карту. Наш маршрут пролегает вдали от островов. Тогда что? Блик луны? Но луны нет – безлуние. Из глубин всплыл Ктулху и переливается огнями? Скопление светящегося планктона? Теплее. Но скорее всего, яхта шейха или олигарха, зависшая в сердце Атлантического океана, светящая в космос сотнями ламп и прожекторов, оглашающая окрестности музыкой, способной глушить рыбу.

Черный океан, светящаяся точка корабля. Мироздание, почему я не там, на яхте?

Резь в животе. Резкая, как удар ножом. Нет, меня никогда не били ножом в живот, но сравнивать мне больше не с чем.

Кинуло в пот, стало не хватать воздуха.

Она такая красивая, эта светящаяся точка в океане. Я мог бы быть там, с ними, с вами. Я достоин. Я везу то, что делает вас веселыми и бодрыми сутки напролет.

Тот, кто воткнул мне нож в живот, начал его проворачивать. Сил нет. Схватился за пряжку на ремне и смотрю во все глаза на точку за окном, словно она может мне как-то помочь, может спасти.

Нож в моем животе вращают медленно и со знанием дела. Господи, бывает ли что-то более ужасное?

Я вцепился себе в руку, в большой палец, который (о господи, как же больно-то), как говорят, сделал нас людьми.

Я смотрю на яхту.

Можно вызвать стюардессу и во всем сознаться. Но нам лететь еще часов пять, что она сделает?

Чем поможет? Хотя, может, у нее есть пистолет и она убьет меня? Из жалости или мимолетного сожаления.

Точка... Что же это, вправду, за точка в океане?

Нож в моих внутренностях сменился на бензопилу. Я прямо вижу, как клочья моего нутра разлетаются по салону.

Оказалось, что боль от «ножа» научила меня терпению. «Бензопилу» я переносу уже легче. Если только можно так сказать о «бензопиле», копающейся в твоих внутренностях.

Да, вариантов немного. Один из пакетиков, похоже, порвался, и то, чем парни и девушки восхищаются себя на этой светящейся точке в Атлантическом океане, просачивается в желудок.

По лбу стекают крупные, как жуки-могильщики, капли пота. Руки подергиваются, пальцы корежит.

Кто-то сел мне на плечи и выкручивает голову, задирает ее вверх, вверх, до хруста позвонков. Подбородок мой ползет вверх, я теряю из вида светящуюся точку.

Я хочу иметь свою яхту. Хочу одиноко сиять огнем посреди безмолвных темных пространств.

Нет, мысленно говорю я тому, кто сидит на моих плечах и выгибает дугой мое тело. Отстань. Позволь опустить голову, позволь смотреть в иллюминатор. Я хочу видеть точку, светящуюся точку посреди Атлантического океана.

Убей меня по возможности быстро.

Звезда

Не стоит иметь на корабле сумасшедших. Со всем не стоит. Но это был странный рейс. У нас на палубе и под ней были и люди – черные и белые, и птицы, и лошади, и ослы. И сумасшедший. Просто сумасшедший. Я не помню, как он появился. Возможно, кому-то из моих помощников или матросов заплатили за его пребывание, а может, он появился по недосмотру. Но, как бы то ни было, он здесь и все мы здесь.

И едва появившись, он принялся бубнить:

– Не на ту звезду мы идем! Не той звезды ловим свет.

Я молчал. Я вел корабль. Что мне до высказываний сумасшедшего?

Но днем или ночью, в дождь, снег, звездопад или штиль он выходил на палубу, смотрел на пустой горизонт и скрипел противным, как звук вытаскиваемого из доски гвоздя, голосом:

– Не на ту звезду правишь, капитан! Не на ту!

Однажды я схватил его за шею, наклонил голову над пропастью, что начинается за бортом, и спросил:

– Хочешь туда? К китам, медузам и дельфинам?
– Да, я хочу к китам, медузам и дельфинам! – сипел он и улыбался. И шептал горячо, будто на исповеди: – Я всегда хотел стать частью дельфиньей стаи. Отпусти меня. Может, меня съедят акулы или кашалоты. Пусть. Но ты правишь не на ту звезду.

Я выкинул его в виду Галапагосов. Не знаю, доплыл он до суши или нет, но с тех пор, выходя ночью на палубу, я слышу крик из бездонной тьмы, окружающей корабль:

– Капитан, ты плывешь не на ту звезду!

Эти вопли посреди океана делают меня, перевидавшего сотни штормов и ураганов, куклой на ватных ногах.

А он кричит из темноты:

– Не та звезда! Ты держишь курс не на ту звезду. Везут ли его на своих спинах дельфины, киты, акулы или, быть может, ангелы, но я слышу его крики каждую ночь. И мне страшно.

– На ту ли звезду, капитан, ты ведешь свой корабль?

День рождения

У меня есть тайный талант. Я умею останавливать сердце. Ненадолго, конечно. Секунд на двадцать-тридцать. В юности немного занимался йогой, а там есть практики, связанные с управлением сердцем и сердцебиением. Вот там, в процессе занятий, я этому и обучился. Нехитрый талант становится на полминуты патентованным мертвецом. Но, как говорится, что имеем, то имеем.

На пятидесятилетие я задумал собрать нашу институтскую команду. В институте мы много играли в футбол. Довольно быстро выяснилось, что футбол нам интересней металлургии, и мы, как только высвобождалось время, играли. Мужская часть группы. Девчонки болели. И болели, надо сказать, отчаянно. С криками, а иногда и слезами, если «их» команда проигрывала.

У нас была хорошая группа. Мы и сейчас хорошая группа. Правда, уже не студентов, скорее, граждан, стремительно направляющихся к пенсии.

Но мне, однако, полтинник.

Я арендовал футбольное поле. Оно небольшое, трибуна крохотная, но нам много и не надо.

Тянулись, как всегда, долго. Опоздали примерно все, кроме меня. Но я знал, что так и будет,

поэтому арендовал поле на четыре часа, чтобы не беспокоиться о пустяках. Минут через пятнадцать после назначенного срока стали подъезжать.

Леха. Приехал первый.

Я стоял в центральном круге.

– Игорек, прости, опоздал. Работа, пробки, все сволочи, – крикнул он мне.

– Переодевайся, – поднял я руку в ответ.

Потом приехал Мойша. Вообще-то он Дима, но по молодости периодически позволял себе антисемитские прогоны, после чего и был прозван мною Мойшей. Что у меня действительно получается, так это давать клички. Прилипают на раз.

– Мойша, ты опоздал, – крикнул я ему, скрывающемуся в вагончике для переодевания.

Он несколько раз кивнул.

«Совсем седой, – подумал я. – Леха тоже сидит, но у него пока только борода, точнее, бородка, побелела».

Я стоял в центре. Фонари с мачт били ярким, как солнце в Крыму, светом.

«Крым наш, – подумал я. – Интересно, есть кто из наших, кто против?»

Вот и Игорь подъехал. У него есть родственники на Украине, и кто знает, что происходит у него в башке, но мы собрались не за этим. Мы группа. Мы банда.

Наша юность пришлась на девяностые. За время учебы у нас убили пару человек с потока. Именно убили. Может, поэтому мы умеем ценить каждого из нас.

Аркашка приехал. Громогласный, нервный, но, боже мой, какие мозги! Мы думали, пойдет в науку. Пошел в производство и хорошо продвинулся на атомном заводе. Наверное, самый «футбольный» из нас. За ЦСКА болеет. Не люблю «коней». Хотя нет, пусть лучше «кони», чем «мясо». За «мясо» у нас болел один Вовчик, но он пропал с радаров через пару лет после окончания института. Мы думаем, его убили. Он был парнем заводным, компанейским. Плюс КМС по дзюдо и огромный опыт присутствия на окраинных дискотеках. А это, знаете, такая школа жизни... Но пропал. Я помню, как он на моем дне рождения году в девяносто первом рассказывал, что его напарника зарубили топором. Вовчик тогда заведовал несколькими ларьками в центре города. Начальничья должность. Времена сложные. Вполне могли зарубить.

Через полчаса после назначенного срока косяком пошли. Илюха, Седов, этот, отчисленный на втором курсе... Девчонки подъехали, стали усаживаться на трибуне.

– С днем рождения! – сложив руки рупором, прокричала Ирка.

– С днем рождения! – прокричали они хором со Светкой.

Я послал им воздушный поцелуй и прижал руку к сердцу.

Из вагончика стали появляться переодевшиеся футболисты.

– То есть вовремя вообще никак? – широчайше улыбаясь, приветствовал я их.

– Игорь, хорош...

Мы обнялись. По спине и ребрам мне хлопали так, что все гудело. На трибуны пришла Светка. Да, еще одна, но она, впрочем, не Светка, она Гузель, просто ей нравится быть Светой. Ольга, Настя, Люба...

– Мальчишки, вперед! – орал девчонки.

Какие же яркие фонари на мачтах, и как же здорово, что все мы здесь.

Разбились на команды, началась заруба. Мы всегда играли жестко. Потому что играли честно. Спорт – это такая вещь, что ты либо играешь, либо врешь. А мы друг другу старались не врать. Глупая студенческая привычка, которую я решил сегодня нарушить.

Мойша всегда был отвратительным защитником, но если человек не может быть даже защитником, не ставить же его в нападение.

Мы «горели». Я орал на всех. Все орал на Мойшу. Это эмоции. Мы знали, что один человек из команды не может играть плохо, плохо играет вся команда. Мы ругались. Но, господи боже ты мой, как же честно, открыто и от души мы ругались. Ничего не тая, ничего не нося за пазухой. Чистые эмоции и ничего кроме. Чистые эмоции очищают.

Под самый конец матча, когда мы «горели», как бенгальские огни, я споткнулся раз, другой, остановился, погладил себя по левой стороне груди и упал в центральном круге. Глаза мои расфокусировались, подернулись дымком бессмысленности.

Некоторое время игра продолжалась без моего участия. Потом кто-то, по-моему, Игорь, подошел ко мне, потряс за плечо. Подошли еще люди, трясли меня, пугались, видя расфокус в моих глазах.

Аркадий упал на коленки, схватил мою руку, принялся искать пульс.

Я сделал никому не видимое усилие.

– Пульса нет! – щупая запястье, заорал он. – Нет пульса!

– Дай сюда! – схватил мою руку Леха.

69

Принялся ощупывать запястье в поисках пульса. Потом задрал мою майку, прижался ухом к груди. Моей же, конечно. И опять ничего не различил.

– Не бьется! Сердце не бьется!

Подбежали девчонки, я услышал их нервные крики.

– Что с ним?

– Инфаркт?

– Инсульт?

Кто-то из них – Светка? Ирка? – прижался к моей груди, пытаюсь отыскать бьющееся сердце.

– Он умирает?

– Он умер?

– В скорую звоните!

– Кто умеет делать прямой массаж сердца?

– В скорую!.. Скорую!.. Скорую!..

Я запустил сердце и сел. Обвел глазами собравшихся вокруг меня одноклассников.

– С днем рождения меня? – спросил я.

И тут с четырех сторон, как и было запланировано, в небо с грохотом взлетели струи салюта. Небо разверзлось праздником. Ночь шархнула вправо-влево, темнота закрутилась воронкой. Темное ночное небо расцвело цветами самых нехарактерных для России оттенков. Небо светилось и опадало светом.

– Малышев, какая ж ты тварь! – заорала Светка.

– Живой!

Кто-то, я даже не понял кто, бросился мне на шею.

– Нет, ну не тварь?! – с неподдельной радостью в голосе сказал Мойша, перекрывая залпы.

В небе кувыркались и джигитовали огни салюта, который, конечно же, тоже был приготовлен заранее.

– Так с днем рождения меня? – крикнул я.

– Падла! Тварь! Скот! С днем рождения тебя! Живи, сука, долго! Очень долго живи, гад! – орал мне в уши одноклассники, а небо все расцветало и расцветало новыми красками.

